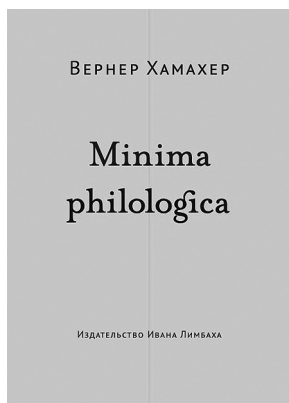


О трудоголизме филологии

**Хамахер В. *Minima philologica*: 95 тезисов о филологии;
За филологию** / Пер. с нем. А. Глазовой под ред. И. Болдырева.

СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2020. — 216 с. — 2000 экз.

Имя немногих авторов может назвать себя само, то есть появиться перед читателем без сопровождения других имен, закрепляющих и уточняющих его положение в поле гуманитарного знания. В России имя немецкого филолога и постструктуралистского мыслителя Вернера Хамахера (1948—2017) пока еще нуждается в отсылках такого рода, и потому было бы логично представить этого автора в окружении интеллектуально и биографически близких ему фигур: Петера Сонди и Жака Деррида, бывших в разное время учителями и наставниками Хамахера; Джорджо Агамбена и Жан-Люка Нанси, вдохновлявших Хамахера на исследование основ и глубин человеческого языка; Фридриха Гёльдерлина, Франца Кафки и Пауля Целана, к текстам которых обращены наиболее известные работы Хамахера.



Сможет ли имя филолога вырваться из этой цепочки и стать значимым само по себе, зависит от того, как сложатся его отношения с текстами, под этим именем написанными. Для того чтобы стать аллегорией друг друга, то есть без лишних слов отсылать друг к другу как к гаранту полноты своего значения, имя автора и текст должны расстаться, отделиться друг от друга, подчинившись принципу: «Что случается — разлучается» (с. 61). Размышляя в одной из работ о неизменном герое своих интеллектуальных сюжетов, Поле де Мане, Хамахер показывает, какие противоречивые отношения связывают обе части этой аллегории. Будучи изначально соотносенным с авторским именем как с исходной точкой своего движения, филологический текст в то же время не может состояться до тех пор, пока не откроется

навстречу саморефлексии и порождаемым ею вопросам о предельных основаниях филологии¹. Иными словами, текст должен подчиниться безличной настоятельности этих вопросов, определяющих подводное течение по-настоящему филологического письма, и попытаться справиться с ними без внешней поддержки и отсылок к тому, что находится за пределами внутритекстовой лингвистической реальности, — к авторитетному имени автора-филолога.

С появлением книги «*Minima philologica*», вышедшей в «Издательстве Ивана Лимбаха» и состоящей из двух поздних текстов Хамахера в переводе поэтессы Анны Глазовой, у русскоязычного читателя наконец появилась возможность наблюдать за тем, как сам Хамахер ставит и осмысляет подобные вопросы. В книгу вошли эссе «За филологию» (2008) и филологический трактат «95 тезисов о фило-

1 См.: Hamacher W. *Lectio. De Mans Imperativ*. In Werner Hamacher. *Entferntes Verstehen. Studien zu Philosophie und Literatur von Kant bis Celan*. Frankfurt am Main, 1998. S. 153.

логии» (2010), аккумулирующие попытки Хамахера выработать новый — «поэто-филологический», «фило-поэтический» и «фило-филический» (с. 8) — язык филологии, который позволил бы самой практике филологического, то есть заряженного любовью к слову, письма вырваться из рамок академической дисциплины и изобрести себя заново в непосредственном контакте с художественным и философским дискурсами.

Одним из вопросов, определяющих декларативное измерение как эссе, так и «Тезисов», является вопрос о возможности существования филологии и филологического письма как таковых. Поводом для радикального пересмотра базовых предпосылок филологии Хамахеру служит соображение о том, что филология не вписывается в ряд наук, не принадлежит к порядку «речи-высказывания» (*logos arorphantikos*) и, следовательно, не может порождать опровержимые высказывания о конечных предметах, в том числе о самой себе как об изучаемой и поддающейся изучению дисциплине (с. 35). А потому любую попытку применить к взаимоотношениям литературного текста и филологии модель объяснения, расшифровать тайное знание литературы и освоить его, то есть использовать текст для объяснения лежащей за его пределами реальности, филология не столько категорически отклоняет, сколько обходит многозначительным молчанием и оставляет без каких-либо гарантий истинности.

Искать объяснение филологии — удел в первую очередь тех, кто занимается ею профессионально. Раз и навсегда оправдать филологию значило бы найти ей такое объяснение, которое извинило бы филологию за то, что она не приносит универсально востребованных результатов и на протяжении всего времени живет в кредит, откладывая срок «платежа» — предъявления доказательств своей незаменимости в роли посредника-интерпретатора между литературой и конкретной исторической реальностью. Составители сборника статей, посвященных анализу «Тезисов» Хамахера, германисты Герхард Рихтер и Энн Смок, предлагают осмыслять эти обещания при помощи понятия палеонимии; этот термин был введен Жаком Деррида для обозначения таких ситуаций, в которых старое имя сохраняется и используется в новых обстоятельствах². Продолжая намеченную Рихтером и Смок аналогию, можно предположить, что филология палеонимически вновь и вновь закладывает свое единственное имущество — свое имя, — для того чтобы, оставаясь под покровительством и поручительством академической традиции, рискнуть, отделиться от нее и изобрести себя заново. Потому что таков удел филологии: «Каждая дефиниция филологии должна себя индефинировать — и освободить место следующей» (с. 45).

Однако сколь бы многообещающим и потенциально бесконечным ни казалось это движение на первый взгляд, будучи описанным с другой точки зрения, оно внезапно раскрывается как пустая трата энергии: тот факт, что для филологии смысл этого движения заключается в вечном возвращении к неизменности собственного имени, с которым ей, однако, никогда не удастся совпасть, не позволяет отделаться от мысли, что у филологии нет оправдания — по крайней мере того, которое удовлетворяло бы популярным критериям производительности и эффективности. Филология изначально не способна защитить и оправдать себя сама, и поэтому, парадоксальным образом, ее оправдание и становится той нескончаемой работой, которой посвящает себя филолог.

2 *Richter G., Smock A. Introduction // Give the Word: Responses to Werner Hamacher's «95 Theses on Philology» / Eds. G. Richter, A. Smock. Lincoln, 2019. P. 5. Подробнее о палеонимии см.: Деррида Ж. Позитивности: беседы с Анри Ронсом, Юлией Кристевой, Жаном-Луи Удбином, Ги Скарпетта. М., 2007. С. 85.*

Основы этой принципиально неэффективной логики определяет язык, который, по мнению Хамахера, не столько означает, сколько «договаривает» то, что ему не удалось означить прежде (с. 27). В то же время, как указывает немецкий предлог «für» в его дополнительном значении, язык выступает от имени того, что пока еще осталось невысказанным. Иными словами, язык указывает на недостижимость в настоящем того предельного элемента, который сделал бы значение высказывания совершенным и полным, и в то же время как его заместитель или представитель — «как адвокат, свидетель и переводчик» (с. 28) — предвосхищает появление этого языка в будущем.

Однако это обещание никогда не исполняется из-за того, что язык в филологии остается «темным» и нуждающимся в «дальнейшем прояснении» (с. 29). Из этого перформативного сбоя следует, что определяющий посыл языка и филологии как особой модальности речевой деятельности, в которой говорящий может по-настоящему открыться необозримому множеству иных (еще ему недоступных) языков, состоит не в обещании или призыве к терпеливому ожиданию (которое в конце концов будет вознаграждено исчерпывающим объяснением), а в требовании верить обещаниям языка вопреки всему — и в первую очередь вопреки тому, что каждое «действие языка представляет собой ошибочное действие, парапраксис, lapsus linguae»³. Но, несмотря на это, язык продолжает «говорить» — и, как следствие, ошибаться, а вернее, оговариваться. Прибегая в тезисах 82 и 83 к аналогии с «незаживающей раной» и «травмой», Хамахер создает предпосылку для интерпретации неисправимой ошибочности речевых действий в психоаналитическом ключе — как проявления навязчивого повторения (Wiederholungszwang), а филологии — как варианта психоаналитической проработки (Durcharbeitung), с той, однако, оговоркой, что цель филологической проработки состоит не в устранении, а в бесконечном любовном воспроизведении симптома своей нелюбви к несовершенному и неполному языку: «Филология, — утверждает Хамахер, — это, ad infinitum, любовь нелюбви языка» (с. 115). И именно эта «любовь нелюбви» (Mögen des Nichtmögens) заставляет филолога бесконечно растягивать процесс работы над языком и с языком, оттягивая момент перехода количества работы в качество результата. Таким образом, филолог не совершает работу над своими ошибками (оговорками, описками, забываниями), а работает, чтобы ошибаться дальше.

«Филология — патология» (с. 150), она не располагает иным стимулом к действию, кроме познания самой себя и своих влечений к языку. Неисчерпаемость этого процесса обусловлена парадоксальностью отношений между знанием и страстью, логосом и филией. С одной стороны, влечение и интерес к дальнейшей филологической проработке возрастает по мере того, как филология умножает свое знание о себе, подобно тому как желание пациента продолжать психоаналитический сеанс напрямую зависит от аффективного резонанса с той новой и чрезвычайной интерпретацией собственного случая, которую он успел получить от психоаналитика. С другой стороны, это знание каждый раз оказывается недостаточным и ничтожно малым по сравнению с тем, что можно было бы или еще предстоит познать. Из-за радикального раздвоения между знанием и незнанием о себе филологии не остается ничего иного, кроме как «познавать приближение всегда как отдаление» (с. 151), как «поворот к кому-то [и чему-то] непременно отвернувшемуся» (там же), будь то к объектам внеязыковой действительности, в которых языковое высказывание могло обрести гарантию своей реальности, или к самой себе как к хрупкой совокупности интересующих ее объектов и мысленных траекторий доступа к ним.

3 Hamacher W. Op. cit. S. 191.

К чему бы ни двигалась филология, в каждый совершаемый ею шаг заложена возможность выбора между принятием и преодолением двойного, апорийного движения, выбора между мизологией и мизофилией, патологией и терапией. Для филологии этот выбор сопряжен с возможностью переопределить себя и решить, как быть с переполняющими ее парадоксами: поддаться ли ей садистскому импульсу и попытаться дисциплинировать «понимание и применение филологии» (с. 151), то есть превратить ее в познавательную «эпистемическую систему», или остаться свободной и неопределимой для самой себя «практикой *pathos'a*» (с. 152). Так или иначе, этот косвенный вопрос не столько указывает на возможность выбора, сколько создает иллюзию его свободы: и эта свобода иллюзорна, потому что ситуация выбора навсегда утрачивается в тот момент, когда филология «ставит себя в услужение теориям и практикам познания» (там же) и навсегда перестает быть филологией в бесконечно свободном и одержимом понимании этого слова; но эта свобода также необходима, потому что «не знать и, возможно, никогда не узнать, чем она занята», а также «что она такое» — «затруднение, которое и есть филология» (с. 148).

Помимо *проработки* (*Durcharbeiten*) есть еще один модус, в котором, по всей видимости, существуют обозреваемые тексты Хамахера: это — модус *переработки* (*Überarbeiten*), или *перевода* (*Übersetzen*). Как позволяет предположить семантика префиксов, задействованных в образовании немецких глаголов «прорабатывать» и «переводить», эти модусы также можно соотнести с двумя схемами движения, с той лишь оговоркой, что на этот раз речь идет не о приближении и отдалении, а о движении *через* (*durch*) чашу отсылки, сквозь неустранимые противоречия языковой действительности, с одной стороны, и о скольжении *над* (*über*) этими противоречиями, с другой. Внутренняя форма глагола «переводить», на первый взгляд, подразумевает, что работа переводчика, совершающего перенос (*Übertragung*) текста из одного языка в другой, легка, беззаботна и мимолетна, что переводчику нет никакого дела до языковой непроницаемости (*Un-durchdringlichkeit*) и герметичности оригинала. И только внезапное созвучие этого глагола с бессознательным переносом в психоанализе (также *Übertragung*) намекает на то, что легкость перевода — напускная и что отношение переводчика к автору текста никогда не может быть полностью свободным от невроза, под влиянием которого переводчик воспринимает автора оригинала как воплощение «знания» текста в последней инстанции, а свой текст — как возможность приблизиться к этому знанию.

Первый раз на призрачное присутствие Хамахера в тексте русского перевода Анна Глазова обращает внимание в переводческом предисловии: «Сам автор... настаивал на том, чтобы именно эта книга [“*Minima philologica*”] была первой переведена на русский язык» (с. 7). Так Глазова, сознательно или нет, создает предпосылку для истолкования своей работы как отклика на требование, или скорее «интерпелляцию» (Альтюссер), автора, стать адресатом которой может только тот, кто обладает изрядной долей филологической восприимчивости. Эта предпосылка тем более продуктивна при анализе рассматриваемого издания, что она позволяет увидеть, как стремление проявить максимальную восприимчивость к концептуальной и языковой сложности оригинала задает тон всему переводу, побуждая Глазову все больше привлекать Хамахера к «сотрудничеству» при работе над русским текстом. Присутствие Хамахера или, вернее, призрака Хамахера зримо обозначают однословные вставки из оригинального текста, сопровождающие перевод наиболее темных и герметичных мест «Тезисов» и эссе.

Подобные вставки — распространенный переводческий прием, служащий для уточнения или же указания на труднопереводимое место. Однако в более ради-

кальном смысле такая вставка отсылает не столько к оригиналу, сколько к непреодолимому разрыву между оригиналом и переводом, то есть к переводческой неудаче. Распознать и оценить этот разрыв способен лишь тот, кто, как и сам переводчик, владеет обоими языками и обращается к переводу не для того, чтобы ознакомиться с оригиналом, а скорее для того, чтобы пережить вместе с переводчиком чуждость и непереводаемость текста. На фоне этого референциального слома использование отсылок к оригинальному тексту выглядит как иронический жест, суть которого — в обнажении двух взаимоисключающих тенденций языка как инструмента перевода: его игровой гибкости, способности к перифразе — и максималистской способности предвосхищать нечто большее, чем то, что пока удалось сказать. Эхо этой иронии, в первую очередь, охватывает декларативный уровень «Тезисов» и эссе, создавая созвучие между внутритекстовой отсылкой к непроницаемо темному, непереводаемому элементу оригинала, с одной стороны, и провозглашенной Хамахером невозможностью приблизиться при помощи отсылок к предельным значениям языка, с другой. Помимо этого ирония подрывает саму идею перевода как плавного перемещения текста из одного языка в другой. Это происходит, во-первых, из-за непреодолимой многозначности оригинального слова; так, *Zusprechen* — это не только «говорение за, в пользу чего-то», но и «говорение *навстречу* чему-то», что согласуется с рассуждением Хамахера о двойном движении филологии (с. 31); *Gegegenwart* — не только «настоящее время», но и «присутствие», то есть ожидание — это не только временная, но и экзистенциальная категория для филологии (с. 99). Во-вторых — из-за утраченного при переводе созвучия или морфологического родства между концептуально связанными понятиями, например «приходить» (*kommen*) и «запятая» (*Komma*), то есть запятая как знак, возвещающий приход чего бы то ни было (с. 126); «плотный, герметичный, непроницаемый» (*dicht*) и «стихотворение» (*Gedicht*), то есть стихи как то, что застыло и больше не пропускает в себя внешние элементы (с. 96). И, наконец, в-третьих — из-за невозможности найти в эмоциональном опыте точку, в которой читательское удовольствие от оригинала переходит в кропотливо-сосредоточенное смирение при работе над переводом. Распатывая семантические, морфологические и аффективные отсылки между языками, ирония уничтожает переправы и мосты между двумя языковыми реальностями, не оставляя переводчику иного выхода, кроме как продвигаться вперед прыжками без страховки, гарантий и надежного метода.

Эти разрывы защищают оригиналы от переводчиков, стремящихся «одомашнить» и объективировать симптомы художественного языка, чтобы навсегда забыть про встречу с ними, подобно тому как они защищают призраков прошлого от встречи с миром непосвященных живых. Повод для концептуального сближения филологических (то есть нуждающихся в филологическом объяснении) текстов и призраков дает сам Хамахер в тезисе 71, определяя филологию как «некийю, схождение к мертвым», практику «приобщения к самому большому, самому странному, все время растущему коллективу... обитателей подземного царства» (с. 101). Есть соблазн предположить, что особый интерес филологии к призракам прошлого — к непроницаемым текстам давно умерших авторов или к руинам личной и коллективной истории — продиктован желанием сообщить их смерти смысл, то есть превратить их в стимул творческой, политической, социальной и психической производительности, вовлечь в методичное освоение классического наследия, изживание травм и исправление ошибок прошлого. Но филология невообразимо далека от каких-либо расчетов и устремленных в будущее стратегий: «...общество филологии — общество тех, кто ни одному сообществу не принадлежит, ее жизнь — сожительство со смертью, а ее язык — вымалчивание» (там же). Филология — пожалуй, единственная мыслимая для Хамахера область дискурса, в которой субъект

может открыться навстречу другому — инородному, бесформенному, непознаваемому — языку, не думая о том, что вскоре ему придется вернуться к самому себе, в мир живых, чтобы породить осмысленный отчет об этой встрече. Иными словами, филология Хамахера позволяет пережить погружение во «множество непроницаемо темных языков» не как познавательную работу, а как бесконечное и самозабвенное вглядывание в объект внезапной любви, как аффективный излишек работы, как чистый и неисправимый трудоголизм.